

Орест Сомов

Киевские ведьмы



*Часть сборника
Семья вурдалака. Мистические
истории (сборник)*



Орест Михайлович Сомов

Киевские ведьмы

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23122986

Семья вурдалака : мистические истории.: Издательство «Э»;

Москва; 2017

ISBN 978-5-699-95959-4

Аннотация

«...Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться, поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катресе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу, — неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам...»

Орест Сомов

Киевские ведьмы

Повесть

Молодой казак Киевского полка Федор Блискавка возвратился на свою родину из похода против утеснителей Малороссии, ляхов. Храбрый гетман войска малороссийского Тарас Трясила после знаменитой Тарасовой ночи, в которую он разбил высокомерного Конецпольского, выгнал ляхов из многих мест Малороссии, очистив оные и от коварных подножков польских, жидов-предателей. Много их пало от руки ожесточенных казаков, которые, добивая их, напевали те же самые ругательства, каковыми незадолго пред тем жида оскорбляли православных. Все было припомнито: и наущничество жидов, и услужливость их полякам, и мытарство их, и содержание на аренде церковей Божиих, и продажа непомерною ценою святых пасох к Светлому Христову Воскресению. Само по себе разумеется, что имущество сих малодушных иноверцев было пощажено столь же мало, как и жизнь их. Казаки возвратились в дома свои, обременяясь богатою добычей, которую считали весьма законною и которую летописец Малороссии оправдывает в душе сво-

ей, рассудив, сколь несправедливо было стяжание выходцев иудейских. Это было справедливым возмездием за утеснения; и в сем случае казаки, можно сказать, забирали обратно свою собственность.

Те, которые знали Федора Блискавку как лихого казака, догадывались, что он пришел домой не с пустыми руками. И в самом деле, при каждой расплате с шинкаркой или с бандуристами он вытаскивал у себя из кишени целую горсть дукатов, а польскими злотыми только что не швырял по улицам. При взгляде на золото разгорались глаза у шинкарей и крамарей; а при взгляде на казака разгорались щеки у девиц и молодежи. И было отчего: Федора Блискавку недаром все звали лихим казаком. Высокий его рост с молодецкою осанкой, статное, крепкое сложение тела, черные усы, которые он гордо покручивал, его молодость, красота и завзятость хоть бы кому могли вскружить голову. Мудрено ли, что молодые киевлянки поглядывали на него с лукавою, приветливою усмешкой и что каждая из них рада была, когда он заводил с нею речь или позволял себе какую-нибудь незазорную вольность в обхождении?

Перекупки на Печерске и на Подоле знали его все, от первой до последней, и с довольными лицами перемигивались между собою, когда, бывало, он идет по базару. Они ждали этого, как ворон крови, потому

что Федор Блискавка из казацкого молодечества расталкивал у них лотки с кнышами, сластенами либо черешнями и раскатывал на все стороны большие вороха арбузов и дынь, а после платил за все втрое.

– Что так давно не видать нашего завязатого? – говорила одна из подольских перекупок своей соседке. – Без него и продажа не в продажу: сидишь, сидишь, а ни десятой доли в целый день не выручишь того, чем от него поживишься за один миг.

– До того ли ему! – отвечала соседка. – Видишь, он увивается около Катруси Ланцюговны. С нею теперь спознался, так и на базарах не показывается.

– А чем Ланцюговна ему не невеста? – вмешалась в разговор их третья перекупка. – Девчина как маков цвет; поглядеть – так волей и неволей скажешь: красавица! Волосы как смоль, черная бровь, черный глаз, и ростом, и статью взяла; одна усмешка ее с ума сводит всех парубков. Да и мать ее – женщина не бедная; скупа, правда, старая карга! Зато денег у нее столько, что хоть лопатой гребти.

– Все это так, – подхватила первая, – только про старую Ланцюжиху недобрая слава идет. Все говорят – наше место свято! – будто она ведьма.

– Слыхала и я такие слухи, кумушка, – заметила вторая. – Сосед Панчоха сам однажды видел своими глазами, как старая Ланцюжиха вылетела из трубы и

отправилась, видно, на шабаш...

– Да мало ли чего можно о ней рассказать! – перебила ее первая. – Вот у Петра Дзюбенка извела она корову, у Юрчевских отравила собак за то, что одна из них была ярчук (ярчук – собака, родившаяся с шестью пальцами и, по малороссийскому поверью, имеющая природный дар узнавать ведьм по духу, даже кусать их) и узнавала ведьму по духу. А с Ничипором Проталием, поссорившись за огород, сделала то, что не приведи Бог и слышать.

– Что, что такое? – вскричали с любопытством две другие перекупки.

– Ну да уж что будет, то будет, а к слову пришлось рассказать. Старая Ланцюжиха испортила Ничипорову дочку так, что хоть брось. Теперь бедная Докийка то мяучит кошкой и царапается на стену, то лает собакой и кажет зубы, то стрекочет сорокой и прыгает на одной ножке...

– Полно вам щебетать, пустомели! – перервала их разговор одна старая перекупка с недобрый видом, поглядывая на всех такими глазами, с какими злая собака рычит на прохожих. – Толковали бы вы про себя, а не про других, – продолжала она отрывисто и сердито. – У вас все пожилые женщины с достатком – ведьмы; а на свои хвосты так вы не оглянетесь.

Все перекупки невольно вскрикнули при последних

словах старухи, но мигом унялись, ибо не смели с нею ссориться: про нее тоже шла тишком молва, что и она принадлежала к кагалу киевских ведьм.

Нашлись, однако же, добрые люди, которые хотели предостеречь Федора Блискавку от женитьбы на Катрусе Ланцюговне; но молодой казак смеялся им в глаза, отнюдь не думая отстать от Катруси. Да как было и верить чужим наговорам? Милая девушка смотрела на него так невинно, так добросердечно, улыбалась ему так умильно, что хотя бы целый Киев собрался на площади у Льва и присягнул в том, что мать ее точно ведьма, – и тогда бы Федор не поверил этому.

Он ввел молодую хозяйку в свой дом. Старая Ланцюжиха осталась в своей хате одна и отказалась от приглашения своего зятя перейти к нему на житье, дав ему такой ответ, что ей, по старым ее привычкам, нельзя было б ужиться с молодыми людьми. Федор Блискавка не мог нарадоваться, глядя на милую жену свою, не мог нахвалиться ею. И жаркие ласки, и пламенные поцелуи, и угодливость ее мужу своему, и досужество в домашнем быту – все было по сердцу нашему казаку. Странно казалось ему только то, что жена его среди самых сладостных излиятий супружеской нежности вдруг иногда становилась грустна, тяжело вздыхала и даже слезы навертывались у ней на глазах; иногда же он подмечал такие взоры больших

черных ее глаз, что у него невольно холод пробежал по жилам. Особенно замечал он это под исход месяца. Тогда жена его делалась мрачною, отвечала ему коротко и неохотно, и, казалось, какая-то тоска грызла ее за сердце. В это время все было не по ней: и ласки мужа, и приветы друзей его, и хозяйственные заботы; как будто божий мир становился ей тесен, как будто она рвалась куда-то, но с отвращением, с крайним насилием самой себе и словно по некоторому непреодолимому влечению. Порой заметно было, что она хотела в чем-то открыться мужу; но всякой раз тяжкая тайна залегала у ней в груди, теснила ее – и только смертная бледность, потоки слез и трепет всего ее тела открывали мужу ее, что тут было нечто непросто: более никакого признания не мог он от нее добиться. Катруся, вдруг овладев собою, оживлялась, начинала смеяться, играть как дитя и ласкать своего мужа больше прежнего; потом уверяла его, что это был болезненный припадок от порчи, брошенной на нее с малолетства дурным глазом какой-то злой старухи, но что это не бывает продолжительно. Федор верил ей, потому что любил жену свою и сверх того видал примеры подобной порчи или болезни.

Однако под исход месяца, с наступлением ночи всегда замечал он в жене своей необыкновенное беспокойство. Она, видимо, начинала чего-то бояться,

поминутно вздрагивала и бледнела час от часу более. Хотел он дознаться причины тому, но это было сверх сил его: всякой раз, когда он с вечера подмечал в Катрусе какое-то душевное волнение, какую-то скрытую тревогу, – неразгадаемый, глубокий сон одолевал его, лишь только он припадал головою к подушкам. Сам ли он догадался или добрые люди надоумили, только однажды в такую ночь под исход месяца Федор, ложась в постель, начал шарить рукой у себя под подушкой и нашел узелок каких-то трав. Едва он дотронулся до них рукою, вдруг почувствовал, что рука стала тяжелеть и кровь утихать в ней мало-помалу, как будто засыпая. Жена его на тот раз была занята хозяйственными хлопотами и не примечала за ним. Федор мигом отдернул форточку у окна и выбросил узелок. Дворная собака, лежавшая на приспе, вероятно, думала, что бросили ей кость или другую поживу; она встала, отряхнулась, с одного скачка очутилась над узелком и начала его обнюхивать; но только что понюхала, как зашаталась, упала и заснула крепким сном. «Эге! Так вот от чего и я спал, дорогая моя женушка!» – подумал Федор. Сомнения его отчасти подтвердились; но чтобы совершенно убедиться в ужасной тайне и не навести подозрения жене своей, он притворился спящим и храпел так, как будто бы трое суток провел без сна. Катруся, возвратясь из клетки, куда

она выносила остатки ужина, подошла к своему мужу, положила руку на его грудь, поглядела ему в лицо и, тяжело вздохнув, отошла к печи. Федор Блискавка, не переставая храпеть изо всей силы, открыл до половины глаза и следил ими за своей женою. Он видел, как она развела в печи огонь, как поставила на уголья горшок с водою, как начала в него бросать какие-то снадобья, приговаривая вполголоса странные, дикие для слуха слова. Внимание Федора увеличивалось с каждою минутой: страх, гнев и любопытство боролись в нем; наконец последнее взяло верх. Притворяясь по-прежнему спящим, он высматривал, что будет далее.

Когда в горшке вода закипела белым ключом, то над ним как будто прошумела буря, как будто застучал крупный дождь, как будто прогремел сильный гром; наконец, раздалось из него писклявым и резким голосом, похожим на визг железа, чертящего по точилу, трижды слово: «Лети, лети, лети!» Тут Катруся поспешно натерлась какой-то мазью и улетела в трубу.

Дрожь проняла бедного казака, так что зуб на зуб не попадал. Теперь уже нет больше сомнения: жена его ведьма; он сам видел, как она снаряжалась, как отправилась на шабаш. На что решиться? В тогдашнем волнении чувств и тревоге душевной он ничего не мог придумать, даже недоставало у него ни на что смелости; лучше отложить до следующего раза, чтоб иметь

время все обдумать, ко всему приготовиться и запастись отвагой. Так он и решился. Однако же бессонница его мучила, страх прогонял дремоту; ему все чудились какие-то отвратительные пугалища. Он ворочался на постеле, потом встал и ходил по хате; напрасно! сон бежал от него, в хате ему было душно. Он вышел на чистый воздух; тихая, прохладная ночь немного освежила его; месяц последним бледным светом своим как будто прощался с землею до нового возрождения. При его чуть брезжущем свете Федор увидел спавшую собаку и подле ней заколдованный узелок. Чтоб избавиться от тяжелой бессонницы и скрыть от жены своей, что он проник в ее тайну, Федор поднял узелок двумя щепками; и вмиг собака встрепенулась, вскочила, потрясла головой и начала ласкаться к своему хозяину. Не теряя времени, молодой казак возвратился в хату, положил узелок под изголовье, прилег на него и заснул как убитый.

Когда он открыл глаза, то увидел, что Катруся лежала подле него. На лице ее не было заметно даже и следов вчерашнего исступления, ни в глазах ее той неистовой дикости, с которою она делала заклинания свои. Какая-то томная нега, какая-то тихая радость отражались в ее взорах и улыбке. Никогда еще не раточала она столько страстных поцелуев, столько детских ласк своему мужу, как в это утро. Словом: она

была молодая, милая и любящая женщина, творение бесхитростное и младенчески-резвое, но отнюдь не та страшная чародейка, которою муж ее видел ночью. И казалось, это не было и не могло быть в ней при творством: она дышала только для любви, видела все счастье жизни только в милом друге своем. Уже казак начал колебаться мыслями: вправду ли случилось то, чему он был свидетелем? не сон ли такой привиделся ему ночью? не злой ли дух смущал его страшными грезами, чтобы отвратить его сердце от жены любимой?

Прошел и еще месяц. Катруся во все это время по-прежнему была домовитою хозяйкою, милою, веселою молодницей, ласковою, услужливою женой. Однако же Федор Блискавка обдумывал втайне, что должно ему было делать, и наконец надумался. Под исход месяца стал он прилежнее наблюдать за своей женою и заметил в ней те же самые признаки: и слезы, и тяжкие вздохи, и тайную тоску, и отвращение от всего, даже от ласк ее мужа, и порою дикий, неподвижный взор. Еще с вечера Федор объявил, что ему было душно в хате, и отворил оконце; когда же ложился в постелью, то, запустив руку под изголовье, выхватил узелок и выбросил его на двор с такою же быстротою, с какою обыкновенно отбрасывал он горящий уголь, когда доставал его из печи, чтоб закурить труб-

ку. Все это было исполнено мигом, так, что Катруся никак не могла сего заметить. Радуюсь успеху, казак притворился спящим и захрапел, как и в первый раз. Жена таким же образом подошла к постели и поглядела ему в лицо, положила руку на его грудь, наклонилась, поцеловала мужа своего, и он почувствовал, что горячая слеза упала ему на щеку. Потом, с тяжким вздохом и отирая себе глаза рукавом тонкой сорочки, она принялась за богоотступное свое дело. Внимание казака, подкрепляемое твердою его решимостью и отвагой, на сей раз удвоилось. Он присматривался, где и какие снадобья брала жена его, вслушивался в чудные слова и затвердил их. Уже ничто не было ему страшно: ни пламенное, неистовое лицо и сверкающие глаза жены, ни рев бури, ни гром, ни резкий, отвратительный голос из горшка. И едва молодая ведьма исчезла в трубу, муж ее вскочил с постели, подбросил новых дров на потухавшие уголья, налил свежей воды в горшок и поставил его на огонь. Потом отыскал небольшой ларец, спрятанный под лавкою в подполье и закладенный камнями, раскрыл его – и остолбенел от ужаса и омерзения. Там были человеческие кости и волосы, сушеные нетопыри и жабы, скидки змеиной кожи, волчьи зубы, чертовы пальцы, осиновые уголья, кости черной кошки, множество разных невиданных раковин, сушеных трав и корней и... всего нельзя

припомнить. Победив свое отвращение, Федор схватил полную горсть сих колдовских припасов и бросил их в котел, приговаривая те слова, которые перенял у жены своей. Но когда котел начал кипеть, то Федор почувствовал, что лицо его кривлялось и подергивалось, как от судороги, глаза искосились, волосы поднялись дыбом, в груди как будто кто стучал молотком, и все кости его хрупали в суставах. После сего он пришел в какое-то исступление ума, ощутил в себе непомерную отвагу, нечто похожее на крайнюю степень опьянения; в глазах его попеременно мелькали яркие искры, светлые полосы, какие-то дивные, уродливые призраки; над ним и буря злилась, и дождь шумел, и гром гремел – но он уже ничего не боялся. И когда услышал зычный, резкий голос из горшка и слова: «Лети, лети, лети!», то, не владея собою от бешенства, торопливо схватил коробочку с мазью, натер себе руки, ноги, лицо и грудь... и вмиг какая-то невидимая сила схватила его и бросила в трубу. Это быстрое движение заняло у него дух и отбило память. Когда же он очутился, то увидел себя под открытым небом, на Лысой горе, за Киевом...

Что там увидел наш удалой казак, того, верно, кроме его, ни одному православному христианину не доводилось видеть; да и не приведи Бог! И страх, и смех пронимали его попеременно: так ужасно, так уродли-

во было сборище на Лысой горе! По счастью, неподалеку от Федора Блискавки стоял огромный костер осиновых дров: он припал за этот костер и оттуда выглядывал, как мышь из норки своей выглядывает в хату, которая наполнена людьми и кошками.

На самой верхушке горы было гладкое место, черное как уголь и голое как безволосая голова старого деда. От этого и гора прозвана была Лысою. Посреди площадки стояли подмости о семи ступенях, покрытые черным сукном. На них сидел пребольшой медведь с двойною обезьяньей мордой, козлиными рогами, змеиным хвостом, ежовою щетиной по всему телу, с руками остова и кошачьими когтями на пальцах. Вокруг него, поодаль от площадки кипел целый базар ведьм, колдунов, упырей, оборотней, леших, водяных, домовых и всяких чуд невиданных и неслыханных. Там великан жид сидел на корточках перед цымбалами величиною с барку, на которых струны были не тоньше каната; жид колотил по ним большими граблями, потряхивая остроконечную своей бородою, хлопая глазами и кривляя свою рожу, и без того очень гадкую. Инде целая ватага чертенят, один другого гнуснее и неуклюжее, стучала в котлы, барабанила в бочонки, била в железные тарелки и горланила во весь рот. Тут вереница старых, сморщенных, как гриб, ведьм водила журавля, приплясывая, стуча гоцки су-

хими своими ногами, так что звон от костей раздавался кругом, и припевая таким голосом, что хоть уши зажми. Далее долгоязыые лешие пускались вприсядку с карликами домовыми. В ином месте беззубые, дряхлые ведьмы верхом на метлах, лопатах и ухватах чинно и важно, как знатные паньи, танцевали польской с седыми, безобразными колдунами, из которых иной от старости гнулся в дугу, у другого нос перегибался через губы и цеплялся за подбородок, у третьего по краям рта торчали остальные два клыка, у четвертого на лбу столько было морщин, сколько волн ходит по Днепру в бурную погоду. Молодые ведьмы с безумным, неистовым смехом и взвизгиваньем, как пьяные бабы на веселье, плясали горлицу и метелицу с косматыми водяными, у которых образины на два пальца покрыты были тиной; резвые, шаловливые русалки носились в дудочке с упырями, на которых и посмотреть было страшно. Крик, гам, топот, возня, пронзительный скрип и свисты адских гудков и сопелок, пенье и визг чертенят и ведьм – все это было буйно, дико, бешено; и со всем тем видно было, что сия страшная сволочь от души веселилась.

Федор Блискавка из своей засады смотрел на это, и жутко ему было, так что холод сжимал всю внутренность. Невдалеке от себя увидел он и тещу свою, Ланцюжиху, с одним заднепровским пасечником, о ко-

тором всегда шла недобрая молва, и старую Одарку Швойду, торговавшую бубликами на Подольском базаре, с девяностолетним крамарем Артюхом Холозием, которого все почитали чуть не за святого: так этот окаянный ханжа умел прикидываться набожным и смиренником; и нищую калеку Мотрю, побиравшуюся по улицам киевским, где люди добрые принимали ее за юродивую и прозвали Дзыгой; а здесь она шла рука об руку с богатым скрягою, паном Крупкою, которого незадолго перед тем казаки выжили из Киева и которого сами земляки его, ляхи, ненавидели за лихоимство. И мало ли кого там видел Федор Блискавка из своих знакомых, даже таких людей, о которых прежде бы никак не поверил, что они служат нечистому, хоть бы отец родной уверял его в том под присягой. Вся эта шайка пожилых ведьм и колдунов пускалась в плясовую так задорно, что пыль вилась столбом и что самым завзятым казакам и самым лихим молодежи было бы на зависть. Немного в стороне оттуда увидел Федор и свою жену. Катруся отхватывала казачка с плечистым и круторогим лешим, который скалил зубы и подмигивал ей, а она усмехалась и вилась перед ним, как юла. Федор, в гнев и ревности, хотел бы броситься на нее и на рогатого плясуна и порядком потузить обоих, но, подумав, удержался и сделал умно. Где бы ему было сладить с целым чер-

товским кагалом, который, верно, напал бы на него, и тогда поминай как звали.

Вдруг раздался как внезапный порыв бури густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках, – и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плеча и головы не успели опуститься; грабли жида на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку – и мигом все запели:

Высоки скоки
В сороки,
Низки поклоны
В вороны, —

подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя! – шептал про себя Федор Блискавка. – Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные весельные песни на своем мерзкостном шабаше перед этим уродом,

в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалялись в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей пепельной головне в глотку: тогда бы небось позабыли бы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»

Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки – все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся – Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то, – думал казак, – настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он, ни жив ни мертв, выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрипнула зубами... но в тот же миг сорвала с себя намитку, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев – и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.

Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезилась ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припо-

минал себе и страхи, и смешное, отвратительное гадство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детской игривостью... «И все это было только притворство! – думал он. – Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе... В задумчивости он и не заметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босую ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы ее помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.

– Федор! – сказала она печально. – Зачем ты подсматривал, что я делала? Зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? Зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! Ты сам растоптал наше счастье!..

– Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! – отвечал Федор с негодованием и отвращением. – Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!

– Послушай, Федор, – подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза. – Послушай! Не я вино-

вата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву... Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем – ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на том свете... Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало... Не приведи Бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась – ничто не помогало! Все мне и днем, и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день – какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие... Как Бога с небес, ждала я Страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на

все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение... Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный, ты сам погубил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские...

– Так живи же с своими родичами, лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда! Оставь меня...

– Не властна я тебя оставить! – перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему. – Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва... В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли... кто бы ни был тот, кто подсмострит наши обряды, – но мы должны... ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его...

– Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной... Все мне постыло на этом свете... Пей же, соси мою кровь!

– И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжело мне, что злая доля развела нас и здесь, и там... – Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.

– Об одном только прошу тебя, – продолжала она, – погляди на меня умильно, дай на себя насмотреться, поцелуй меня в последние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!

Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слились в один долгий, жаркий поцелуй... В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению. Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора; он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»

– Сладко!.. – отвечал он чуть слышным лепетом – и уснул навеки.

Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по округности. Носилась молва, будто

бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь; и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бежала за Днепром по бору.

Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и от того она просветлела.